



## «БЫТЬ САМИМ СОБОЮ – РИСК...»

## «BEING YOURSELF IS RISKY...»

**Светлана Сергеевна Неретина** – доктор философских наук, главный научный сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН. E-mail: abaelardus@mail.ru.

**Svetlana Neretina** – Institute of Philosophy, Russia Academy of Sciences

(Рецензия на книгу: *Рабинович В.Л.* Роджер Бэкон. Видение о чуде, который наживал опыт, а проживал судьбу. СПб. : Женский проект : Алетейя, 2014. 240 с.)

Эта книга, вышедшая после кончины автора, живо напомнила о нем и своими языковыми оборотами, и привычкой к замедленному чтению, и игрой противоположностей, и беззаветной любовью к поэзии, словом, всем, что составляет событие по имени «Вадим Львович Рабинович». Ну, например, после моих слов о беззаветной любви к поэзии он бы меня мягонько этак поправил, что-де беззаветная любовь бывает к партии и народу, а к поэзии – чистая и врожденно-искренняя.

Книга состоит из двух частей: сочинения Рабиновича о Роджере Бэконе и текстов Роджера Бэкона. Первая часть скорее не удостаивается имени научной, Рабинович и называет ее – «Видение». Вторая – чистая философия. Однако первая часть вкупе со второй вполне достойна, чтобы написать о ней в научном философском журнале. Потому я сначала скажу, почему она не научна, не придавая, впрочем, этому слову негативного оттенка, а потом – о

настоятельной необходимости рекомендовать ее читателям.

Книга о Средневековье и о средневековом мыслителе XIII в. Роджере Бэконе, о котором не много написано и от которого остались только мысли, упакованные в сочинения: «Большой труд» («Opus maius»), «Меньший труд» («Opus minus») и «Третий труд» («Opus tertium»). Годы его жизни снабжены знаками вопроса (1214? – 1292?), а про-





звище было *doctor mirabilis* – доктор, достойный удивления. Что наши даты рождения и смерти в сравнении с вечностью при сохраненной памяти об удивлении! Труды Роджера, как оказалось, сейчас есть кому читать. Ситуация в отечественной литературе со времен В.П. Зубова, который писал о нем энциклопедическую статью и в библиографии указал *Opera hactenus inedita*, т.е. до сих пор или пока неизданные труды (в названии выражено и сожаление и упование вместе), значительно изменилась: в «Антологии мировой философии» (1969) опубликован фрагмент из «Большого труда»; в переводе А.Г. Вашестова вышло «Введение к трактату Псевдо-Аристотеля “Тайная тайных”» (1999), во втором томе «Антологии средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья» (СПб., 2001–2002) опубликован фрагмент из «*Opus tertium*»; под редакцией И.В. Лупандина вышло «Избранное» (2005), а в переводе В.Н. Морозова «Зеркало алхимии» (2009). Роджеру Бэкону посвящены книга В. Хинкиса «Жизнь и смерть Роджера Бэкона» (М., 1971), на которую В.Л. Рабинович ссылается в своей монографии, статьи самого В.Л. Рабиновича<sup>1</sup>, В.Н. Морозова «История одного подлога: “Зеркало алхимии” Роджера Бэкона из “Химической коллекции” Уильяма Купера»<sup>2</sup> и глава в нашей с А.П. Огурцовым книге «Пути к универсалиям» («“Эксперимент” Роджера Бэкона»). К со-

жалению, в библиографии, приложенной к книге Рабиновича, ссылок на это нет. Вообще нет ссылок на новые работы. Есть ссылки на произведения Л.П. Карсавина, С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, О.Э. Мандельштама, Данте, Томаса Манна, одну старую книгу Н. Суворова про средневековые университеты и труды самого Вадима Львовича, среди которых – поэтические сборники «Фиолетовый грач» и «В каждом дереве скрипка». Но если вспомнить, что в 1960–1970-х гг. лишь в редких изданиях упоминалось имя Карсавина, а готовить материал о Бэконе Вадим Львович начал во время работы над «Алхимией как феноменом средневековой культуры», то одно это достойно уважения. В библиографии вообще гораздо больше книг по теории культуры как таковой, чем специально исторических или философских книг, посвященных Роджеру Бэкону.

В работе есть курьезы и неточности. Так, вряд ли можно определять средневекового человека только как «глубоко традиционного, принципиально антиноватора». Это мало что противоречит установкам автора на творческую личность, «наисущественнейшие потенции» которой выявляются в динамике ее деятельности, свидетельствуя «начало и конец культуры, как ее *рождение* и *вырождение*» (с. 6). Это противоречит общемировоззренческим тенденциям Средневековья, кото-

<sup>1</sup> Рабинович В.Л. Теоретическое предвидение и его интерпретация по алхимическим трактатам Роджера Бэкона // Научное открытие и его восприятие. М., 1971.

<sup>2</sup> См.: Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия // Сб. мат-лов Второй международной научной конференции; под ред. С.В. Пахомова. СПб.: РХГА, 2009.



рые выразил Амвросий Медиоланский и которые господствовали около 1000 лет: епископ призвал отказаться от самого термина «культура» как выражающего *языческую философию* и ориентированного на *традицию*, в то время как «Христос всегда нов».

Традиционалистский подход свойствен многим, в том числе представителям школы И.М. Гревса, например Л.П. Карсавину или П.М. Бицилли – оба писали о «среднем» человеке (с ними, кстати, спорит В.Л. Рабинович), и последователям школы «Анналов», которые изучали ментальность, правда, не культуры, а *цивилизации*. Умонастроенность эпохи, обращенная к персоне Христа в надежде на личное спасение, опровергает такой подход. Соответственно образ культуры не мог твориться заново, ибо культура оказалась непригодным понятием. А новое творилось, и творилось благодаря самосознанию, переключению статусов и мышления человека.

При определении познавательных программ Средневековья особенно важна опора на источники: одни мыслители строили эти программы на основании тривия (грамматики, риторики, диалектики), другие – квадривия (арифметики, геометрии, астрономии, музыки). Ссылка на тех, кто в Средневековье якобы считал математику, представленную Роджером, основной познавательной программы, «бесплотной наукой» (с. 11), должна быть обязательной. Любая наука в известном смысле бесплотна. Но вряд ли во времена Бэкона ее представляли таковой. Боэций в

свое время определял математику как неотвлеченное знание, рассматривающее «формы тел без материи и потому без движения». Но «поскольку эти формы существуют в материи, они не могут быть отделены от тел»<sup>3</sup>. Это значит, что математическое знание предполагало (постоянно «имело в виду») телесность. По Бэкону, эта врожденная наука подает «чувственный пример и чувственный опыт, строя чертеж или исчисляя, чтобы все было очевидно для ощущения» (там же), значит, Бэкон относился к математике так же, как Боэций, и был в таком случае не основоположником такой ее «чувственной природы» (с. 11), а последователем, традиционным носителем старых представлений. Вадим Львович в данном случае выдвигает от себя некое предположение, которое разбивает с помощью Бэкона и приписывает ему нечто, ему не принадлежащее. Когда к тому же математика, оптика и опытная наука называются тривием (с. 9), понятно, разумеется, что это эпатаж, но он здесь не совсем к месту, тем более что пока еще неясно, что такое «опытная наука».

Представляются не слишком верными толкования некоторых текстов. Так, фраза «*Dominus quae pars?*» переводится почему-то как «Бог – какая часть [речи]?» Не говоря уже о том, что *Dominus* – не Бог, а Господь, т.е. некое представление Бога, «часть речи» здесь тоже ни при чем, а слово «речь», заключенное в квадратные скобки, является ненужным в данном случае толкованием, отвергаемым последующей фразой Бэкона. «Гос-

<sup>3</sup> Боэций. Каким образом Троица есть Единый Бог // Боэций. «Утешение философии» и другие трактаты. М., 1990. С. 147.



подь, – говорит он, – не часть, а всё» («Dominus non est pars, sed est totum»). Речь идет об универсальности и единости Бога, а не о выражении этой универсальности в речи.

Трудно не согласиться с Рабиновичем, что истина в Средневековье дана и санкционирована, освящена и в ней надо по-божески себя удостоверить, но столь же трудно согласиться, что «ученый в Средние века... бессмыслица», поскольку не только в Новое время, но и в то время он «открывает, открывает и открывает все новые, новые и новые знания» (с. 40), а вот «абсолютной истины, критерий которой – практика», и современный ученый не достигает, не говоря уже об «ученом незнании» Николая Кузанского, да и о представлении ученого в диалоге Августина «Об учителе». Разумеется, «в Новое время ученый – тот, кто исследует», но таков же он и в Средние века. Здесь ученый тоже не «тот, кто знает об истинном знании» (с. 41): он знает, что такое знание *есть*, в чем и современному ученому не откажешь, достаточно проанализировать учение К. Поппера об инвариантности истины. К тому же Августин, на которого Рабинович ссылается как на авторитет, постоянно говорит: я не знаю, я сам себя ставлю под вопрос, а Петр Абеляр, один из героев творчества Рабиновича, написал трактат «Этика, или Познай самого себя».

Вряд ли можно согласиться с отождествлением истины и смысла (с. 40), да и «понимание» – не «дело десятое» (с. 48): тот же Августин в том же диалоге «Об учителе» посвящает проблеме понимания немало проясняющих страниц, расставляя понятие и понимание,

значение и смысл, знак и вещь. Отсутствие ссылок в книге Вадима Львовича к тому же не всегда позволяет проверить аутентичность цитируемых текстов и иногда делает собственное рассуждение автора несообразным. Так, вряд ли ссылка на Э. Жильсона может засвидетельствовать, что диспут в Средневековье был одним из главных методов обсуждения. Так оно и было, но этот вывод можно сделать на основании оригинальных текстов, а не историографического исследования. Выражения «беспредельное словопрение» и «краснобайство» применительно к Средневековью коробят: мой опыт чтения и переводов свидетельствует об обратном.

Сказанное относится к нескольким, на мой взгляд, принципиально-содержательным проблемам Средневековья, причем несогласие или недоумения можно множить, как и отметить излишнее упоение тем, что когда-то О.А. Добиаш-Рождественская называла журнализмами. «Роджеру издалека война представлялась большой дракой, где спор решался не умом, а Силой» (с. 21) – Вадим Львович зачем-то додумывает (и не попадает по отношению к Средневековью) за удивительного доктора, отважного традиционалиста, конечно же, знавшего и почитавшего культ силы, коль скоро он занимался алхимией, обвинялся в черной магии и сам обвинял духовенство в невежестве и порочности. Мы также не знаем, угнетала ли Бэкона «рутина в дидактике» (с. 5), может быть, наоборот, в этой рутине он видел способ подтверждения его замыслов и рутиной не называл. Это, кстати, рождает такой вопрос: можно ли про человека зрячего и слышащего



сказать, что у него плохой слух или плохой глаз? Возможно, он плохо понимает *меня*, а я *его*. И только в случае понимания мы говорим: верный глаз (ухо) или неверный, опираясь на аргументы, а то ведь можно просто услышать не то.

Такого рода неточности, стилистическая небрежность раздражают, но только при условии, если искать в тексте Вадима Львовича доказательные, строго научные положения.

Однако его текст преследует иные, не менее «средневековые» цели, прежде всего способы выражения и их показ. Бессмысленно искать у Рабиновича «логику» – это он заимствовал у своего героя, тоже ее не жаловавшего. Повествование Рабиновича – свободный полет свободной мысли, часто цепляющейся за ассоциации. Его высказывания скорее похожи на пророчества Нострадамуса, нежели на ученый труд. Поэтому если эту книгу, в которой много шаблонов, не стоило бы рекомендовать для чтения по истории средневековой философии студентам в качестве научной литературы, то ее можно и необходимо рекомендовать как литературу по истории философии Средних веков, использующую именно средневековые способы выражения понимания – не через доказательные суждения, а через показ имеющегося материала. Эти выражения основываются на «принципе непосредственного наблюдения и демиургической (изобретательной) “инженерии”», а также на «рационально-сенсуалистическом опыте Средневековья, выраженного в практике», например алхимии (с. 113). Именно алхимия вместе с астрологией и каббалой составила корпус герметиче-

ских наук Средневековья – эта практика, вынужденная скрываться, «воплотилась в алхимическом космосе, противостоящем Богом сотворенной Вселенной» (с. 114).

Это – первое удивление, позволяющее назвать Роджера удивительным доктором: ведь занимался этим противостоянием правверный христианин, или, как называет его Рабинович, *послушник*, непостижимым для себя образом оказавшийся *еретиком*, ибо он боролся не «против» церкви или церковных догматов, а «за» (и это настоятельно подчеркивает Рабинович) «кристальную чистоту раннехристианского... канона» (с. 8) – одиночное предвестие реформации.

Истинное удивление Бэкона, возможно, вызвал спор о кротe – живом существе, слепом, с лапками и темной шкуркой. Спор, разгоревшийся между Альбертом Великим и Фомой Аквинским относительно того, есть ли у крота глаза, вызван, однако, не этим конкретным зверьком, которого ради окончания спора хотел принести и показать ученым схоластам садовник, а о «принципиальном кротe» и наличии у него «принципиальных глаз». Такой принцип, кстати, свидетельствует о рецептурности средневекового мышления больше, чем анализ всех рецептов и уставов ремесленников. Рабинович именно на этом примере демонстрирует метод вслушивания, заставляющий продумывать услышанное. Не исключено, что продумывание (того же спора о принципиальных глазах) и привело Роджера Бэкона к исследованию единичных вещей и определению опыта как созерцательного, но удостоверенного реальностью телесного – это



его вклад в спор двух схоластов, при ведении которого он бы не отказался от предложения садовника. Такой опыт двусмыслен: он вместе и мистический и телесный. Это значит, что речи нет и не может быть о понимании Бэконом опыта как естественно-научного эксперимента, а под «опытной наукой» понимается тройное единство: такая наука «дает совершенное знание того, что может быть сделано природой, что – старательностью искусства, что – обманом» (с. 116). Схожий тип наблюдения известен и в веке XVIII, да и в наше время, так что прошлое никогда не уходит из настоящего, и это еще один сильный тезис книги.

Мы, правда, с этим определением опытной науки не вполне согласны. Полагая, что опытное знание не отождествляется Бэконом ни с мистическим, ни с эмпирическим опытом вместе, мы считаем, что хотя и тот и другой виды опыта у него фиксируются, он ни на одном из них не делает акцента, стремясь выделить только ступени внутреннего опыта, исходя из божественного «просветления». Отказавшись от логического исследования универсалий (от «принципиального крота с принципиальными глазами»), Роджер обратил внимание на устремленность (интенцию) знания к конкретным вещам, обладающим собственной интенцией. Его опора на внутреннее предполагает не просто врожденное знание, о чем говорит Рабинович, и не просто перевод эмпирии в то, что постоянно находится в состоянии испытания, т.е. в *experientia*. Это не эмпиризм как точная констатация

чего-то данного самого по себе в отличие от рациональной деятельности, сотворяющей вещь, и не эксперимент, предполагающий целенаправленное наблюдение и организацию особых условий объекта познания. *Experientia* Бэкона предполагает проверку и контроль, это по сути *экспертиза*, требующая многоуровневого анализа вопросов, решение которых нуждается в специальных познаниях. Одним этим вполне оправданы все будущие пути европейской мысли, один из которых сделала уже натурфилософия Возрождения с ее культом магии и мистики, а другой – отвергаемая Роджером логика, обратившаяся к анализу семантического поля значения<sup>4</sup>.

Книга изобилует сочными цитатами. Автор выставляет напоказ нешуточный интерес средневековых хронистов (прежде всего Матфея Парижского) к современному им событиям, их боль, тщательность описания и неспешность повествования – то, что и выделило Средневековье как эпоху субъектности. Рабинович радуется этой способности. «Замечательный текст!» – восхищается он (с. 53) и подробно описывает многие нравообразующие события этой культуры, например обряды посвящения в студиязусы, ступени обучения, своего рода расписание шествия к высотам знания: бакалавр Библии, бакалавр Сентенции, полный бакалавр, лицензиат, магистр. Тем самым он дает знания современному студенту, который вдруг ни с того ни с сего тоже стал бакалавром и магистром. Проявляет словно неожиданно свалившийся к XII–XIII вв. *вкус* к учености, отчего иные схоластические

<sup>4</sup> См.: Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. СПб., 2006. С. 592, 593, 603.



споры, век спустя вызвавшие ненависть гуманистов, кажутся смешными, как, впрочем, и дедовщина среди школяров, ныне тоже не вызывающая усмешек. Вот пример: Рабинович описывает обряд снятия рогов – неофициальное посвящение в студенты. Рогодел-Корнифиций, впрочем, известен с XII в., о нем писал Иоанн Солсберийский. Поэтому скорее всего ритуал снятия рогов изобретен не в XIII в., как считает Рабинович, а в XII, когда школы начали расти как грибы. «Сценарий обряда таков: новичок до университета – вольный дикий зверь с рогами». Студента звали *Beanus*, который *est Animal Nesciens Vitam Studiosorum*, что значит «птенец, не знающий жизни студентов». Жизни надо научить. И тогда «два бакалавра врываются в комнату новичка. Потягивают носом и чуют Беана, существо нечистое и вонючее. Начинается очищение... так сказать, учебный процесс. Новичка заставляют выполоскать рот мочой, съесть несколько пилюль из дерьма, имитируют вырывание зуба... А заканчивают пародийно схоластическим испытанием на сообразительность:

– «Была ли у тебя мать?

– Да.

(*Беан получает по морде*)

– Врешь, каналья! Ты у нее был.

– Сколько блох входит в четверик?

– Этого мы с наставником не проходили.

(*Еще по морде*)

– Они не входят, а вскакивают (и т.д.)» (с. 60).

Отсюда же внимание к терминам, которые Рабинович анализирует во множестве, сравнивая с их употреблением в современном мире. Он собрал эти значения в

сумму – в XIII в. имело методологическую важность, определявшую конструкцию схоластического произведения, – и проанализировал не только имя «школа» или «ученый», но и термины, связанные с процедурами ведения диспута: *inceptio, resumptio, quodlibeta*. Ясно, что без последнего термина – «о чем угодно» – он обойтись не мог, это уже его удивление, Вадима Львовича, показывающее «ученую жизнь в ее торжестве» (с. 63), одновременно ставившее проблему той самой строгости, необходимость которой ощущается столь остро и у Рабиновича, и в философской литературе в целом. Через бездну провала, связанного с *quodlibeta*, обязан шагнуть систематический ум. Описание значений создает понимание весомости *разнородного* слова, по которому считался сотворенным мир. Не говоря уже о том, что подчеркивание оксюморона ведет к тому, что Средневековье, представленное автором как спутница современности, прошлое-настоящее, по Августину, выступает иногда в фарсовом виде, иногда в трагическом. Описание опыта молитвы, при которой молящийся видит вдали звезду, при определенном настрое читателя вдруг натывается на вполне современный, пришедший из уголовного фольклора, «квадратик неба синего и звездочку вдали». Но трагизм, о котором говорит Рабинович, заключается в том, что монопольное право на истину могло привести и к Холокосту, и к ГУЛАГу.

К несомненным достоинствам книги Рабиновича относится ее формально-образная конструкция. Она построена на манер некоторых образцовых средневековых



книг, например «Утешения философией» Бозция или «Новой жизни» Данте. Эта книга написана с оглядкой на поэзию как на основание, на начало философии, истории и любого мусицирования. Она состоит из перебивок поэзии (стихов Рабиновича) поэтической же прозой (или попыток создания этой поэтической прозы). Поэзия высокого качества. Чего стоит перевод одного только «Видения Уильяма о Петре Пахаре»! Не Бэкона? К тому же XIV в.? Не беда. Ведь это стиль Рабиновича – ассоциативный ряд, а из стиля не выпрыгнешь. Такое поэтико-прозаическое построение, его показ, может быть, оказывает пониманию Средневековья не меньшую услугу, чем скрупулезный ученый комментарий его текстов.

Присутствие шуток, шутиwego отношения даже к собственным писаниям – тест на удачу. Рабинович обращает внимание на то, мимо чего часто проходит строгий исследователь, оттого Средневековье порой кажется унылым и действительно темным. Но вот однажды Генрих II «велел потихоньку подчистить у [епископа Падериборнского Майнверка] в тексте заупокойной обедни первый слог Pro

(fa)mulatibus tuis (за рабов и рабынь твоих)». Епископ не заметил соскоба и во время службы торжественно пропел «pro mullis et mulatibus tuis (за ослов и ослиц твоих)» (с. 49). Это похоже на проказы самого Рабиновича, делая ощущение его присутствие в книге.

И последнее, что делает лично для меня книгу внутренне своей, – благодарственное отношение к друзьям и учителям. Я уже упоминала, что в книге нет собственно научной, к делу (философии Роджера Бэкона) относящейся библиографии, но есть М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, конечно же, В.С. Библер и Лина Туманова. Заканчивая повесть о Роджере Бэконе утверждением, что хотя «диалог в замкнутом мире воплощается в *монашеско-алхимическом* Роджере Бэконе», в человеке Средневековья можно уловить «межкультурные взаимодействия на алхимическом перекрестке культур», ведущем «от человеческой деятельности – к деятельному человеку» (с. 171), Рабинович в качестве примера такого деятельного человека приводит Лину Борисовну Туманову, памяти которой посвящает стихи, завершающие его «Видение».